

# УБЕЙ НЕМЦА

Из детства, из того благословенного времени, когда мир радостно изумляет, а кусается еще не очень больно, мне живо помнятся наши семейные походы в гости к родственникам. Родственники – по линии отца: его братья и сестры, их жены и мужья, для нас с братом – дяди и тети.

Жила наша родня в пригороде Вятки, в заречье, путь туда был не далек, но всегда волнующ, ибо ездили мы к ним на праздники: Новый год, 8 Марта, Октябрьская, а если День Победы выпадал на воскресенье (тогда этот праздник не был красным днем календаря), то и на 9 Мая.

День Победы нам с братом нравился больше всего. В этот праздник наши дяди-фронтовики надевали награды и кое-что рассказывали о войне; вообще-то фронтовики в ту пору о войне не распространялись, наградами не хвалились, да и было у них наград немного, это потом пиджаки стали увешивать юбилейными медальками.

Поутру перед поездкой отец готовил себе и нам с братом обмундирование: до умопомрачительного блеска чистил свои и наши ботинки, с тщанием пропаривал через марлю брюки от выходных костюмов, закладывал каждому в карман пиджака по наглаженному носовому платку. Мать тоже готовилась к поездке очень усердно, ходила в на-

крученных бигуди, долго гладила, примеряла разные серьги и бусы, советовалась с отцом по части платья и воздушной косынки, красилась, что-то забывала, что-то вспоминала, суежилась...

На отца в этот день мы смотрели с уважением. На груди у него – медаль, которую он надевал только на 9 Мая. С барельефом Сталина и оранжево-черной лентой – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Военная история у отца не была боевой и геройской, больше – тыловой, но все же пролегла она по фронтовым рельсам... В армию отец попал незадолго до войны. На учениях, на полигоне, осколком гранаты, неумело брошенной молодым солдатом, отцу раздробило локтевой сустав. Отца отвезли в госпиталь, где военный хирург, не церемонясь, заявил цинично и просто: «Руку не спасти! Надо ампутировать! Комиссуем – поедешь к матери в деревню молочко пить...» – «Чего?! – взбеленился отец. – Отрезать? Не дам!!» – В своем решении он оказался тверд: отрезать не дал. Руку ему спас другой хирург, гражданский. А когда началась война, на строевую службу его не взяли, но взяли на тыловую – в паровозное депо. В годы войны он помощником машиниста гонял составы по Северо-Западу, не раз попадал под авианалеты и бомбежки, но судьба миловала. И награда за Победу была истинно заслуженная.

На 9 Мая мать никогда не ограничивала отца в выпивке. Потому мой старший брат, который соображал насчет выпивки азартнее, чем я, давал отцу простодушные вопросы:

– Пап, а сколько ты сможешь выпить?

– Четверть! – резко, незамедлительно, категорично отвечала за отца наша мать.

Отец на ее дерзкий выпад отмахивался:

– Болтает она... – И далее он рассуждал: – Смотря при какой закуске. При мясной хорошей закуске: холодец, пельмени, окорок – бутылку белого выпью незаметно...

– Белого – это водка? – уточнял я.

– Ну да. Белого...

– А две выпьешь? – приставал брат.

– Две тоже выпью. Но это уже... – Отец изображал рукой что-то округлое, увертливое.

– А три? – вступал опять я.

– Нет! Три будет много. Даже под любую закуску. Две с половиной еще можно взять, а три много...

От старенькой деревянной автостанции, которая кишела народом, мы ехали в заречье. Сперва дребезгучий автобус вез нас по городу, который был украшен стягами, растяжками, плакатами; у обелисков и танка Т-34, что задирали дуло на постаменте, лежали венки. По дороге попадались группы людей и даже небольшие колонны – ветеранов, школьников, – которые несли венки и цветы на мемориальные кладбища. До Вятки боевые действия не докатились, но повсюду в городе были госпитали, из них и везли невыживших фронтовиков на воинские захоронения, которых набралось премного.

Автобус был набит битком, и когда поднимался в гору, урчал на последнем издыхании, – казалось, чихнет сейчас, заглохнет и покатится обратно, вниз. Но нет! Не мог автобус подвести в этот день, в День Победы, – солдаты в войну такого зверя одолели, в таких трудностях сдюжили, а автобус вдруг да и подкачает. Не подкачал! Взбирался на гору, делал передых, а дальше вниз катился легко и весело.

В салоне, хоть и тесно, но светло и радостно от праздника. Все вежливы и учтивы, затевались нечаянные знакомства, разговоры, а нас, детей, даже шаливших и без того добавлявших суетолки, одергивали и приструнивали снисходительно.

Наконец мы в доме родственников, у тети Шуры. Нас тут уже ждут-пождут. Дом у них большой, прихожая огромная, и все выходят нас встречать. Кроме хозяйки, тут – тетя Люба, тетя Аля, дядя Федор, дядя Коля и сам хозяин Евгений Ильич. Почему по имени-отчеству? Иначе никто его и не зовет: он учитель математики в школе, а в войну был офицером. Приветствия женщин, объятия, крепкие рукопожатия мужчин, у которых награды на пиджаках; дежурные вопросы-ответы; а за взрослыми нас с братом ждут, жмутся и хихикают наши четыре кузины.

В зале стоит огромный стол, вернее, два стола, составленных воедино, под белой скатертью. На столе уже блистают посудным златом тарелки, фужеры, стопки, в центре – ваза с фруктами.

Мать тут же вливается в женскую компанию и отправляется на кухню. Мы с кузинами перемещаемся в детскую и сразу начинаем «дурить»: тычки, щипки, прыжки на диване, в ход идут и подушки... Дверь в детскую нам, однако, закрыть не дают, чтоб мы были на виду. Мужчины чинно сидят на диване и стульях и курят (это теперь придумали курить где попало, на кухнях, на лестничных площадках, даже в туалете, а тогда курили достойно – в комнатах). Сегодня они курили, разумеется, дорогой «Казбек», хотя в обычные дни обходились «Беломором» и рабоче-крестьянским «Севером».

Словами мужчины не частили, разговор необязательный, а праздника Победы и войны касался лишь рикошетом:

– Кореш у меня на фронте был. Клоун цирковой. Так он дым из ушей пускал... – посмеиваясь и поблескивая золотой фиксой, вспоминал дядя Коля; он был моложе всех и на фронт попал под конец войны, но два ордена Красной Звезды успел заслужить.

– Языками чесали: всех победим, токо сунься! А случилось – одна винтовка на троих, и та без патронов... Махорки и той в первые годы войны на фронте не хватало, – с обидой на кого-то говорил дядя Федор. Из собравшихся фронтовиков он был самым старшим и самым геройским... На груди у него – две медали «За отвагу», орден Славы, медаль «За взятие Берлина»; был он дважды ранен, контужен, но оказался живуч, дошел до немецкого логова.

– На немца вся Европа работала. Вот и экипировка у них была великолепная. И табак со всего миру... – сказал Евгений Ильич; у него на лацкане висела только одна медаль: «За Победу над Японией», хотя мы знали, что и на западном фронте учитель тоже воевал.

– Самосадом обходились. Бабки на станциях продавали. Стаканами, – прибавил на табачную тему отец.

На столе тем временем всё прибывало и прибывало. Холодец, винегрет, салат под майонезом, золотистая от масла, в кольцах лука селедка в продолговатой селедочнице, капуста с вкраплениями клюквы, соленые огурцы и помидоры, окорок тонкими ломтиками. Среди закусок и разносолов особым почтением пользовались рыжики, зелено-бурые, крепенькие, мелкого размера, некоторые настолько малы, что не насадить и на вилку...

Но что бы на столе ни появлялось, мужчины взирали на это несколько отстраненно и отмечать праздник как будто не спешили. Пока на столе не появлялась водка. Из холодильника. Запотевшая. «Столичная». Это было сигналом к началу застолья.

Мужчины, просияв лицами, рассаживались вокруг стола, оставляя место рядышком для своих дам. Дамы окидывали себя взглядом в зеркало, прихорашивались и подтягивались к столу. Нас, детей, помещали на одну сторону. Хозяин Евгений Ильич брал бутылку водки, срывал за язычок головку... Женщинам наливалась, как правило, «Рябина на коньяке», нам – пузыристое шипучее ситро из темных бутылок.

Первый тост не был за Победу. Первым всегда оставался традиционный: «За встречу!» Говорили все однообразно и пустовато:

- Давайте – за встречу!
- Давайте...
- С приездом!
- Давненько не видались...
- Ну давайте: за всё хорошее!

Взрослые чокались стопками и рюмками со спиртным, мы с братом с двоюродными сестрами стаканами с лимонадом. Мужчины после охотно приступали к закускам, женщины от выпитого морщились, трясли головой, зорко следили друг за дружкой:

– Ты чего не всю выпила?! Ну-ка давай, давай, полную. Я, погляди-ка, вот всю до капельки...

Разговор начинал разгораться, оценивали закуски, нахваливали рыжики... Мужчинам вскоре хотелось выпить по второй. Теперь уже тост был «За Победу!». Сами же речи и возгласы были опять простецкими:

- С праздником!
- Давайте отцов помянем!

Все вставали. Почти все наши деды, то есть отцы старшего поколения, которое собралось за столом, погибли на фронте. Они первыми встретили врага в самое горячее лихолетье: 41-го – 42-го...

– За отцов! – В глазах женщин появлялись слезы, мужчины темнели лицом. Праздничный настрой сменялся поминальным. Но ненадолго.

– За детей, чтоб без войны прожили!

Взрослые смотрели на нас. Мы с братом стояли по стойке «смирно», твердо держали стаканы с лимонадом.

Затем от нас, детей, негласно требовалось дать короткое представление, соответствующее празднику, что-то вроде концерта. Мы с братом «косили» от таких затей. На выручку приходили кузины. Двое из них занимались в самодеятельных кружках, а одна играла на пианино, так что мы могли шланговать... и как зрители наблюдали выступление.

Сперва одна из сестер прочитала стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Читала она проникновенно, тепло.

Жди меня, и я вернусь.  
Только очень жди...  
Жди, когда наводят грусть  
Желтые дожди...

– взволнованно умолял девичий голос.  
Все слушали сосредоточенно.

...Жди меня, и я вернусь,  
Не желай добра  
Всем, кто знает наизусть,  
Что забыть пора.  
Пусть поверят сын и мать  
В то, что нет меня...

Тут отец, возле которого мы сидели с братом, благодушно хмыкнул и тихо сказал:

– Ерунду сочинил... Мать ждать будет всегда. Пуще всех...

Наш дед, отцов отец, на фронте «пропал без вести», где-то на Калининском направлении. Мы с братом не могли понять: как так «пропал без вести», это же боец, не иголка в стоге сена?! Мать нашего деда, наша прабабушка была жива, своего сына она ждала до сих пор и даже куда-то подавала запрос (сама безграмотная, другие за нее писали): не нашелся ли сын? – хотя минуло уже два десятка лет.

– Мать ждать будет всегда. Пуще всех, – повторил отец.

Дальше самая старшая из наших кузин, которая мечтала стать артисткой и ходила в театральные кружки, читала фрагмент литературной композиции, приготовленной в том же театральном кружке к 9 Мая. Сперва она объявила:

– Из статьи Ильи Эренбурга «Убей!» – Потом она повернулась к публике боком, гордо подняла голову, как настоящая артистка, и читала громко и призывно: – «...Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьёт твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьёшь немца, немец убьёт тебя». – Она произносила это металлическим голосом и с таким ожесточением, что сама на себя была не похожа, словно какая-то комиссарша из кино. – «...Если ты убил одного немца, убей другого – нет для нас ничего веселее немецких трупов...»

В этом месте не выдержал дядя Федор. Он негромко, но как-то дико, язвительно всхрипнул и, чему-то дивясь, тряхнул своим седым чубом; однако монолог «артистки» не прервал, тут же замер, уперся взглядом в пол.

После этого чтения в воздухе скопилось много какой-то напряженности и неловкости, хотя исполнительнице все хлопали в ладоши. И тут хозяйка тетя Шура обратилась к своей дочке, юной пианистке:

– Сыграй песни! А мы споем!

Женщины голосисто спели и про «Катюшу», и «На позицию девушка провожала бойца», и «Огней так много золотых на улицах Саратова...» Вышло очень душевно.

Теперь наступал черед пельменям. Пельмени в застолье – это целый ритуал... От того, каковы пельмени, зависел настрой стола, оценка заслуг хозяйки; обыденное блюдо волшебным образом превращалось в деликатес. Пельмени подавались с маслом, со сметаной, с уксусом, с соусом, с хреном. Один из пельменей был непременно «пустой» – вернее, в нем вместо мяса было тесто; кому такой пельмень доставался, тот считался счастливей всех.

Пельмени у тети Шуры были исключительными... Пиршество продолжалось, говорили о чем-то общем, семейном, родовом. Затем женщины отправились на кухню – вероятно, посекретничать на женские темы. А мужчины выпивали, без тостов, кивали друг другу и выпивали. Немного развязывали языки...

Наш отец, хмелея, вспоминал о какой-то поездке, о которой всегда вспоминал по пьяному делу, говорил короткими предложениями:

– Бомба в вагон... Народу тьма-тьмушная. Кровь из вагона ручьем льется... Из Ленинграда в эвакуацию везли. Ребёнок больше всего жалко...

Вот в эти минуты мы с братом и подступали к своим дядям, чтобы что-то выведать о войне, о подвигах, о том, как били фрицев. Больше всех нас манил дядя Коля. Мы знали, что в войну он служил в особом

разведбатальоне, пересекал на самолете линию фронта, десантировался в тыл врага, выполнял спецзадание и возвращался назад.

После войны он попал в тюрьму, сидел «за любовь» – так мы слышали от взрослых, но спросить об этом мы его не смели, считали, что он вступился за свою девушку и здорово накостылял сопернику. Был дядя Коля невысок, крепок, никогда не пьянел. И был силачом. Однажды он сказал: «В драке троих держу». Не находилось по округе ни одного, кто мог бы выиграть у него поединок на руках (позднее это назовут армрестлингом). Мы с братом тоже пробовали свалить вдвоем, в четыре руки, его руку. Дядя Коля нам поддавался – мы радовались. Потом трогали его каменные бицепсы и смеялись...

– Дядь Коль, сколько раз ты прыгал на парашюте? – допытывались мы с братом.

– С парашютом, ребята. Всего девятнадцать прыжков. Четыре – за линию фронта, – отвечал он.

– А наград-то у тебя две! – указывал мой брат на два ордена дяди Коли. – Два задания, значит, не выполнил?

– Не выполнил. Враг-то был больно хитрючий, – улыбался он, блеснул золотой фиксой.

В такие минуты застолья совершенно добродушным, мягкотелым и совсем каким-то непедagogичным становился строгий учитель математики Евгений Ильич. Он курил как паровоз. Дым пускал из ноздрей большими столпами. Когда он брал очередную папиросу из коробки, мы с братом зажигали спичку и подносили к его папиросе. Он ласково смотрел на нас и говорил, расплываясь в улыбке:

– Я Ленин...

Мы смотрели на него с недоумением.

– Я Ленин папа... – Он смеялся.

Он безумно любил свою дочку Леночку, которая играла на пианино. Добиться рассказов о войне от Евгения Ильича было почти невозможно. Однако его фронтовую судьбу мы с братом все же узнали – спустя лет сорок, – он поведал нам ее перед смертью, когда был уже глубоким стариком.

«На войну я попал студентом. Знал немецкий. Это меня и погубило... Определили меня в особое подразделение – заниматься сбором трофеев и немецких архивов. Ох, уж и не любил я эту службу! Рапорты писал, чтоб отправили на передовую... Как же так, я домой вернусь и скажу, что на войне золотые портсигары подбирал и бумаги перекладывал. Только в конце сорок четвертого отправили меня на танковые курсы, потом – на фронт. Командиром танка на новенькую “тридцать-четверку”. Радовался я, будто каждый день у меня день рождения... И вот первый бой. Атака. Мой танк должен первым промчатся по мосту и войти в населенный пункт... Сигнальная ракета. Вперед! И вдруг на мосту мотор танка глохнет. Ни туда ни сюда! Атака сорвана. Танк на буксире притащили в расположение части. Меня – под следствие: сорвал важное задание, не подготовил машину к бою, парализовал атаку батальона... Хорошо был толковый, честный мужик зампотех. Он и доказал, что экипаж танка не виновен, у машины заводской брак. Танк отправили на завод-изготовитель. Оттуда пришел акт. Так и есть: заводской брак в двигателе. Меня освободили. А война к тому времени с Германией кончилась... Мне досталось повоевать только с японцами».

В исповеди Евгения Ильича сквозила горечь, словно на войне с Германией он так и не появился.

...О боях, о фронтовой жизни скупенько делился с нами дядя Федор. Он вскидывал свой седой чуб, смотрел куда-то мимо нас с братом и говорил будто бы для самого себя:

– Всю войну прошел, ранен был. А вот верил, что меня не убьют. Выживу! Только один разок... Думал, копец котенку... Днепр форсировали ночью, снаряд в наш плот угодил. Я кой-как за бревно уцепился. Держусь, зубы от холода стучат. Несет меня по теченью. Чую, силов боле нету. Счас бревно не смогу держать, и всё – каюк. Уж и глаза закрыл, и вся жизнь разом примерещилась... Но вдруг: под ногами чего-то твердое. Носком сапога достаю – берег. Еле выкарабкался... Вот так-то. И не верил в Бога, так поверил...

– Дядя Федор, – подступали мы к нему с братом, – а сколько немцев вы на войне убили?

Он отвечал нешутейно и прямо:

– Бить бил. А сколь точно, сказать не могу. – Тут дядя Федор рассмеялся, – и не то чтобы весело, и не то чтобы зло, а как-то насмехательски рассмеялся... – Помню, политрук нам статью из газеты читал, ту же самую, что племянница счас говорила... – Дядя Федор гнусовато, видать, передразнивая политрука, произнес: – Убей немца! Убей немца!.. Прочитал он нам эту чепуху, спрашивает: каково ваше мнение? Я встал и говорю. «Убей немца»? Чего там этот писака, сытый, в тепле, из Москвы орет: «Убей немца»? Пускай к нам в окопы приезжает да убьет немца. Хоть одного. Вон, на той стороне, их сколь много. Знай бей! Сколь хошь! И пехота, и танкисты, и артиллеристы – полно немцев-то. Приезжай да бей! Чем языком ветер гонять... – Дядя Федор потянулся к пачке с «Казбеком», которая лежала на столе, но потом убрал руку, полез в карман пиджака, достал помятую пачку «Беломора», закурил. Пальцы у него на правой руке – указательный и средний – были желты от табаку.

– Наливайте, мужики! Помянем тех, кто не выжил...

Урезать в выпивке женщины мужчин даже не пытались. В этой мужиковой пьянке был потаенный смысл, словно они что-то заливали в себе, может, тушили воспоминания о войне, в которой для них было что-то темное, уродливое, болезненное, даже несмотря на то что были они победителями.

Пройдет много лет, и мы с братом поймем: это были очень сильные люди. Они одолели голод, холод, войну, тюрьму, ранения, тяжкий крестьянский и заводской труд, они отстояли Родину от фашистов, они восстановили страну из руин. Эти простые русские люди не умели скрываться за чужими спинами, лебезить перед начальством, славословить генсекретарей... Мы с братом каемся, что мало общались с этими родными людьми, чего-то у них не спросили, не разузнали. Нам остается только помнить, что они незримо стоят за нашей спиной.

...Дальше в застолье шло сладкое. Женщины расставляли чайные приборы, тетя Шура подавала огромный пирог, разделенный на квадраты, заполненные повидлом. Чай был очень ароматный. К празднику хозяйка всегда умудрялась доставать что-то особенное.

Все пили крепкий душистый чай с пирогом. Праздник 9 Мая подходил к концу.

Домой мы возвращались по потёмкам. Автобус был набит еще сильнее, чем днем, и мы с братом, прижавшись к отцу-матери, засыпали в толпе стоя.

# КАВАЛЕР

Летом к нам, на окраину Вятки-города, на тихие, не знавшие асфальта улочки, непременно наведывался приемщик вторсырья. Дома тут располагались частные, с огородами и дровяниками, да бревенчатые отемненные заводские бараки, с сараюшками, которые, казалось, сразу построили с инвалидным наклоном. А где больше всего барахла? – именно под кровом таких подсобных построек, имевшихся здесь в избытке. Да на чердаках...

Звали приемщика Кузьмой. За глаза некоторые кликали его с униженной простотой – Кузя. «И когда Кузя приедет? За зиму стокохламу накопилось. Сбагрить ему подчистую...» Но в лицо его величали уважительно, а то и вовсе с почтением, как учителя, Кузьмой Тимофеевичем.

Профессию его тоже называли всяк на свой манер. Чаще всего – утильщик. Помимо приемщик, иногда – сборщик; некоторые – почему-то барахольщик, а как-то раз мы услышали от старой седой очкастой тетки заумное и заковыристое: «Мануфактурщик».

Привозила Кузьму на точку раздрызганная, вечно пыльная, с вихляющимися, грохотливыми бортами полупторка – будто вытащенная откуда-то со свалки. Привозила груженного всякой всячиной, и Кузьма разбивал пункт. На земле устанавливал широкие железные планшетные весы, а поблизости раскладывал и развешивал товар, который в магазинах днем с огнем не сыщешь. Место обустраивал самым заметным, крикливым образом, чтобы подвигнуть народ любого возраста к сбору и сдаче утильсырья. На вытянутый шпагат вдоль ближнего забора развешивал женские платки с красными цветами, коврик с рогатым оленем, махровые клетчатые полотенца, покрывало с тощей узкоглазой китаянкой, несущей кувшин с водой; и обязательно – гроздь ярких, в разноцвет, воздушных шаров, которые и магнитили нас, мальчишек, призывая и принуждая к сбору макулатуры, металлолома и тряпья, – при виде этих шаров руки так и чесались уволочь что-нибудь, что плохо лежит...

Расплатиться за вторсырье Кузьма мог не только товаром, но и деньгами: две копейки за кило металлолома, четыре – за кило старых газет, но деньги – медяшки да бумажки – мало кто брал, женщины зарились на вельвет, тюль да на крепдешин, редкостный в магазинах, или отмеряли черного сатина, из которого шили трусы; мужики приглядывали ходовую половую краску и сурик для крыш, хозяйственный инвентарь, а иногда те и другие брали дребедень: прищепки, глиняную расписную свистульку или книжку-раскраску.

Однажды мы с братом надыбали в собственном сарае и на вышке не годящегося для дела лома: ржавый-прержавый молоток, амбарный



замок без ключей, воротные петли от каких-то древних ставень, велосипедную облезлую изувеченную раму, чугунок литров на пять-шесть. Дабы провести утильщика и выторговать у него побольше товару, в чугунок мы положили пару увесистых булыжников, насыпали в придачу сырого – чтоб потяжелше и поплотнее – песку, а сверху, чтоб прикрыть подвох, навалили ржавых гнутых гвоздей, болтов, шайб и гаек.

Все свое богатство за пару ходок мы приволокли Кузьме и воззрились на его смуглые скулы, чтобы он поскорее начинал обвес и оценку нашему сырью. К принесенному нами железу Кузьма особого интереса не проявлял, перевешивал равнодушно, толкнет ногтем по металлической блестящей плашке гирьку, назовет вес и щелкнет костяшками больших деревянных счет, которые тоже неизменно держал под боком. Добравшись, однако, до чугунка, Кузьма что-то заподозрил: то ли порядочный вес его смутил, то ли прочитал в наших лицах волнение. Он снял чугунок с весов и приказал:

– Вывалите! Чего там у вас?

Мы с братом мялись, не хотели собственными руками вытряхивать наружу свое жульничество... Кузьма терпеливо ждал. Мы стояли истуканами, глядели на него исподлобья. Наконец Кузьма сам нагнулся, опрокинул чугунок; вместе с гвоздями и гайками оттуда высыпался песок, вывернулись из него серые бока булыжников. Мы нешуточно струхнули, даже переглянулись и подумали: не дать ли дёру – как бы не всыпал нам утильщик, а еще хуже не добрался бы с жалобой до наших родителей. Но до слез было жаль «честного» утиля! Да и угрозливости и злобы Кузьма не проявлял. С рабочей простотой он высыпал весь песок из чугунка, булыжники отшвырнул в траву, в канаву, и кивнул на железяки:

– Гвозди и болты обратно. И на весы!

Мы мгновенно исполнили его приказ – теперь уже чисто плотный чугунок красовался на приемке. Кузьма присел на корточки, потолкал гирьку по плашке и опять щелкнул деревяшками на счетах. Сказал спокойно и убедительно:

– Песок и камень мы не берем. Нам только металл нужен.

На причитающиеся нам деньги мы набрали товару: по свистку, коробку цветных карандашей, а главное – переводных картинок, которые были тогда в большой моде.

Рассчитавшись с нами, Кузьма, за неимением других клиентов, сел на куль с тряпьем и закурил папиросу. Мы не торопились уходить от него, после его снисходительного отношения к нашему обману мы имели особенное право потереться возле пункта приема и кое о чем попытать Кузьму, – хотя был он немногословен и досужих рассказов от него мы не слышали.

В ту пору – конец пятидесятых – не принято было у старших молоть языком, рассказывать правду и неправду о недавно минувшей войне, выставлять на показ и святость освободительной борьбы, и жестокость, и мерзость неизбежного смертоубийства. Не принято было носить и награды, увешивать грудь не только разными цацками, юбилейными медальками и значками, но и боевыми наградами. А Кузьма никогда, казалось, не снимал со своего старого, облоснившегося, темно-коричневого пиджака две награды, две звезды: одна – цвета меди, другая – под серебро, обе с одинаковыми оранжево-черными ленточками.

– Это не медали, ребята. Ордена Славы, – отвечал на наш вопрос Кузьма. – Их давали исключительно солдатам. За подвиг. Самые выс-

шие награды... Это, – он указывал желтоватым от табака пальцем на звезду медного достоинства, – орден третьей степени, а этот, серебристый – второй. – Он сделал затяжку, прищурился. – Мне ведь и первой степени хотели дать. Документы не успели оформить, бомба в штаб попала. А то был бы я полным кавалером ордена Славы. Это даже выше, чем Герой Советского Союза. Почету больше.

О достоинствах и почетности воинских наград мы с братом имели представления покуда примитивные, нам-то высшей солдатской наградой казалась медаль «За отвагу» с выбитым танком на серебристом кругляше, но про Героя Советского Союза мы, конечно, слышали, – и знали, что выше-то их по подвигам не может никто другой сравниться, никакой «кавалер». Причем слово «кавалер» казалось каким-то несерьезным, насмешливым, ну вроде как «Кузя» для имени Кузьма. Кавалер – это некий ухарь, фраер (это слово мы тогда уже знали), который начистил сапоги, заломил фуражку и пошпарил на вечерку плясать с девками, которые лузгают семечки.

Мы внимательно вглядывались в ордена Кузьмы и невольно прикидывали, какой может выйти из него военный герой с двумя подвигами и с еще одним подвигом, который не засчитали, потому что разбомбили штаб. Был Кузьма щупловат, пиджак сидел на нем мешковато, невысок ростом, шея худая, и лицо такое простое, что попадись прохожий с таким лицом, взглянешь на него как на обычный куст акации, которая растет возле дороги.

Про подвиги, даже имея к этому любопытство, мы Кузьму не расспросили, не удалось: к утильпункту пришла седая тетка, та самая, которая называла Кузьму по-умному «мануфактурщик», принесла куль какого-то барахла и старый небольшой ковер, свернутый в трубочку; нам она шибко не нравилась, и мы ретировались... Да, по правде-то, мы и не поверили словам Кузьмы. Разве мог он совершить боевые подвиги на фронте, а потом стать утильщиком и промышленять разной рванью и рухлядью?! Мы подумывали даже, что награды, а может быть, и пиджак вместе с наградами он у кого-нибудь выторговал за свой редкий товар; он утильщик, и такой, редкий, товар ему положен для обмена.

Много лет спустя, работая в архиве одного из вятских военкоматов, я наткнулся на личное дело рядового красноармейца Кузьмы Тимофеевича Измествьева, фотографии в деле не было, так что сразу определить, тот был Кузьма или не тот, возможности не представлялось. Но наградные документы свидетельствовали, что он дважды кавалер... Даже нашлось представление еще на один, «золотой», орден Славы, который Кузьма Тимофеевич так и не получил при жизни. Орден по сей день хранится в военкомате, передать его некому, так как близких родственников у Кузьмы Тимофеевича не оказалось; семьей после войны он не обзавелся, довоенная семья – жена и дочка – скончались от тифа; его мать Клавдия Николаевна умерла рано, в 49-м, а отец Тимофей Измествьев и двое сыновей (братьев Кузьмы) погибли в годы войны на разных фронтах.

...И все же вопрос о фронтовых подвигах мы с братом Кузьме задали, в очередной его приезд.

– Да какие подвиги, ребята, – отмахнулся Кузьма. – Всякий, кто воевал, подвиги делал. В разведку ходил, реку форсировал, дом штурмом брал...

– Ну хотя бы самый главный подвиг, – не отступали мы.

Кузьма недолго подумал, ответил на полном серьезе:

– Главный подвиг? Я за свой главный подвиг ни медали, ни ордена не получил... Я картину спас.

– Картину? – удивились мы.

– Да. Был такой художник Айвазовский... Так вот однажды, мы тогда Крым освобождали, горел дом. Красивый такой дом, с колоннами, музей какой-то... А возле него баба мечется. Кричит: там же Айвазовский! Кто такой Айвазовский, я тогда не знал. Думал, мужик какой-то в огне погибает. Спрашиваю: где твой Айвазовский? Она мне: «У рояля, на втором этаже!» Я и бросился в дом, в самое полымя... Рояль нашел, дым кругом, а никакого мужика нету. Тут-то я и сообразил, Айвазовский – это картина. Стащил полотно, оно не больно велико и было, чуть поболее метра в длину, – и обратно. Сам обгорел, плечо поранил, а картину спас. Баба, музейщица-то, вся в слезах от радости. Говорит мне: вас в веках будут помнить... – усмехнулся Кузьма.

– А чего на картине-то было? – спросили мы.

– Да я уж позабыл. Море вроде бы, камни, лодка какая-то. Этот Айвазовский, говорят, только про море и рисовал...

Кузьма достал пачку папирос, но закуривать не стал. Из-за угла ближнего дома вывернула тетка, толкающая тачку, на которой горой лежал всякий хлам.

# ЛАПТИ

Мои бабушки, вятские крестьянские уроженки, Евдокия Ивановна Шишкина и Анна Федоровна Евдокимова, едва могли написать свою фамилию в какой-нибудь неизбежной бумаге, требующей подписи. Не умели они и читать, разве что «по складам» разбирали какой-нибудь важный документ или весточку от родственников, находящихся на войне, в неволе или в далеких краях.

В юности, в студенческие годы, когда боготворимая Литература захлестывала меня своими чудными книгами наших и тамошних классиков, я часто удивлялся: как же так, мои бабушки, люди исключительной внутренней силы и поразительной духовной чистоты, люди созидания и бескорыстия, не читали даже Пушкина и Льва Толстого, не говоря уже о заморских Маркесе и Вулфе? А более изумительно – не испытывали, казалось, даже малой потребности в поэтических щедротах «Евгения Онегина» или откровениях Анны, героини яснополянского гиганта.

Позднее в одном из томиков стихов меня цапанула фраза из послания Пушкина своему другу: «Поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст...» Ирония молодого Пушкина угадывалась несомненно, но между тем смысл строчки был весьма серьезен, точен и поучителен. Жизнь, натура трогает человека всегда больше, острее и глубже, чем писательские фантазии, потому и цена женской улыбки, радости матери или слезы ребенка может быть выше поэм Гомера.

Еще позднее, спустя годы, и несмотря на то, что всю сознательную жизнь оставался предан Литературе, я утвердился во мнении, что искусство со всей его интересностью, влекомостью, захватом, – недаром тот же Пушкин писал: «над вымыслом слезами обольюсь...» – есть в жизни все-таки область очень и очень прикладная, сопутствующая натуре, отчасти легкомысленная и праздная.

Землепашец и врач, конструктор и офицер, судья и священник – они способны исчерпывающе заполнять своими деяниями жизнь общества. Светскому же искусству и даже возносимой мной Литературе по жизни отводится роль необязательной гувернантки или милой утехи, хотя и гувернантка может оказаться умницей, а в утехе может быть много искренности, очарования, смысла.

Словом, сила духа, справедливость рассуждений и подлинная культура характера давалась моим безграмотным бабушкам из самой жизни, из самой природы, из труда, который полонил их с малых лет и до последнего смертного передыха...

«В борозде как-то раз рожала. С покоса шли. Раньше ведь ни про какие декретные отпуска не ведывали...»

«Только угляжу на угоре машину, всю меня обушмарит, дрожу как лист. Вдруг “черный ворон”, вдруг выселять едут... Старая швейная машинка была, дак ведь и ту конфисковали...»

«Сперва мальчишки-двойняшки от тифу померли. Потом и Валюшку, дочку, на восьмом году бог прибрал...»

«Сиротой росла. Мамушка-то рано ушла. А тятя посылал нас по деревням куски собирать...»

«Храм-от какой красивый стоял. Большевики ломали да радовались. Теперь какую-то филармонию выстроили...»

Даже этих коротких фраз хватало понять, как учила их жизнь. Впрочем, о настоящей учебе, об образовании, и Евдокия Ивановна, и Анна Федоровна упоительно мечтали. Не раз я слышал от них: «О-о-ох! Кабы я грамотна-то была, глядишь, и жись-то не этак бы выстелилась. Букваря и того не далось пройти...» Но букварь букварем, а красоту их духовного уклада, мудрость, несуетность, трезвомыслие и спокой привились к ним уж точно помимо всяких литературных размышлизмов и красот.

В отличие от мной любимых и почитаемых бабушек, я получил весьма хорошее образование, сам преподавал, написал книги, общался с очень даровитыми людьми, ломал копыя в каких-то интеллектуальных спорах. А всё тихонько иной раз проскальзывала странная мыслишка: Пушкин – он и есть Пушкин, литературный гений, а по жизни-то Арина Родионовна выйдет мудрей... .

Мудрость человеку, вероятно, дает *органика* жизни – органичные знания, которые черпаются из материи, из естества мира, органичные поступки, не противоречащие человеческой природе, органичная мораль – мораль равновесия и справедливости, совсем не та, которую приносят в общество лукавые умы претендующих на власть людей.

То, что мои бабушки очень сильные мудрые люди, я вполне осознал будучи уже взрослым человеком и уже тогда, к сожалению, когда они покинули наш мир. А впервые *природного*, сильного и мудрого человека я встретил и распознал в детстве, в школьные годы, может быть, учась в классе втором или третьем (в середине шестидесятых). То, что это человек особой породы, я подсознательно усвоил сразу.

Случилось это на центральном кировском рынке, куда по воскресным дням мы ходили с матерью. Мы ходили с ней вдоль открытых торговых рядов, мимо уставленных всякой всячиной прилавков. День стоял ведренный, гомонливый, яркий. На прилавках громоздились холмы творога, покутанные в марлю, стояли зеленоватые четверти с молоком, банки сметаны; медовый ряд привлекал янтарными сотами, вокруг которых вились полосатые осы. На одних торговых рядках лежали овощи, яблоки, зелень разных сортов, на других – парное мясо, сало, густо посыпанное красным перцем или крупной солью; на третьих – всяческая утварь, важная для хозяйства, и тут же – безделицы вроде раскрашенных деревянных свистулек.

Но все это изобилие прилавков для меня как-то разом померкло, когда я увидал *этого* старика. Крупного сложения, но нетолстого, высокого и не сутулого, с густой седой бородой, остриженной аккуратно – полукругом, с загорелым, посеченным морщинами лицом. Одет был старик в косоворотку – в светлую косоворотку, сшитую, видать, не фабричной швеей, а домашней умелицей из посконной, грубой и, возможно, домотканой льняной ткани. Такие косоворотки уже никто не носил в ту пору в Кирове, их разве что встретишь у сельских жителей, да и то

в редкость. Старик-то и был из сельских жителей – наверняка. И подпоясан он был не ремнем, а веревочной подпояской. На голове – картуз, именно картуз, не фуражка, не шляпа, таких картузов тоже поискать еще... Но самое важное, от чего я и вовсе оторопел, не встречая такого еще на городском рынке, были его обувки. Лапти! Настоящие лапти, не какая-нибудь игра в ряженных, а исконные, вероятно, этим стариком и сплетенные лапти. Икры старика охватывали белые обмотки, по-иному – онучи, и ступал он в своей исключительной обувке очень легко, даже чувствовалось, что нога у него при ходьбе дышит... А ко всему – как подходящий довесок к его особенному наряду – нес он на плече короб, также сплетенный из широкого лыка. Не рюкзак, которыми обзаводились туристы, не сидор, с которыми ходили солдаты, не котомка, а объемистый угловатый короб.

Старик оказался недалеко от меня, у прилавка, где продавали парафиновые свечи, клубки шпагатов, краски, кисти... Я слышал его короткий разговор с торговавшей этим хозяйством женщиной, с красно накрашенными губами, в цветастой косынке:

– Так написано вон, – ворчливо указывала она старику на какой-то ценник.

– Буквов-то я не разбираю, деушка. Не учён, – извинительно шурился он на торговку.

То что, он был безграмотным, это было и не диво: бабушки-то у меня тоже не чтицы. Мне захотелось чем-то помочь старику, прочитать ему, чего требовалось (читать я уже умел недурно), я потянул голову к прилавку, который был почти мне вровень с макушкой, но вопрос старика как-то сам собой разрешился. Он отвернулся от прилавка, и мы оказались с ним друг против дружки. Я смотрел на него зачарованно. Картуз, косоворотка, лапти, короб за плечами – он словно бы вышел из старой, дореволюционной жизни. Он являл собой какого-то былинного сеятеля, который ходит с лукошком и бросает зерна во вспаханную деревянной сохой землю...

– Здравствуешь, малый! – сказал мне старик, улыбнулся, что-то теплое доброжелательное блеснуло в далеком загадочном дне его темных глаз. Морщины на лбу доброжелательно приосели, а его большая рука с узлами вен потянулась к картузу; он слегка приподнял картуз в знак приветствия.

Я и вовсе рот разинул. На меня пахнуло не только патриархальностью, но и какой-то благолепостью и чистотой от этого старика. Хотя, конечно, я таких слов не знал, и не смог бы детально рассказать, чем же он подкупил меня, этот седобородый старик. Ведь не только внешностью... А он, видя, что я замешкался, вежливо обошел меня и пошагал далее вдоль богатых воскресных базарных рядов.

От матери я поотстал, все еще глядел на радушного светлого старика – хорошо, мягко и основательно ступал он в своих лаптях на землю, неся на плече короб. Даже выйдя за ворота рынка, я еще много раз оборачивался, чтобы найти взглядом этого неожиданного человека, запомнить его поточнее. Да и позже невольно искал среди ботинок, сапог, туфель, босоножек и сандалий так приглянувшиеся мне лапти!

...Минуло много лет с тех шестидесятых годов. Уже давно нет моих бабушек на этом свете. Мне их очень не хватает. Они пережили больше, чем я. Они и знали чего-то большее, чем знаю я, хотя мне довелось прочитать много умных книг.

Странствуя по России, живя в разных городах, соприкасаясь со сферами искусства, мне часто приходилось видеть людей, безусловно образованных, начитанных, напитанных, казалось бы, культурой, но столь же часто эти интеллектуалы оказывались завистниками, пошляками, лицемерами, которых раздирало тщеславие и жажда богемного превосходства, которое – по естественным законам жизни – как раз свидетельствовало об их малодушии, ущербности, о несвободе от лживых пустых заслуг.

... Не встретить теперь на кировском рынке старых людей в картузах и косоворотках. Но иногда я даже среди московской толпы начинаю оглядываться по сторонам: вдруг появится старик в лаптях с лыковым коробом на плече, и я замру перед ним хотя бы на минутку и, может быть, стану потом хоть чуточку мудрей.